

Петров П. Н.



ЦАРСКИЙ СУД

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Россия державная

Петр Петров  
**Царский суд**

«Алгоритм»

1877

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

## **Петров П. Н.**

Царский суд / П. Н. Петров — «Алгоритм»,  
1877 — (Россия державная)

ISBN 978-5-501-00079-7

Петр Николаевич Петров (1827–1891) – русский историк искусств, писатель, искусствовед, генеалог, библиограф, автор исторических романов и повестей; действительный член Императорского археологического общества, титулярный советник. Он занимался разбором исторических актов, а также различных материалов по русской истории и археологии. Сотрудничал в «Русском энциклопедическом словаре», куда написал около 300 статей по искусству и русской истории, а также был одним из редакторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В настоящее время Петров наиболее известен двухтомным изданием «Истории родов русского дворянства» (1856). Определенную ценность имеют также его книги «Специальные заметки по генеалогии и геральдике» (1871), «История С.-Петербурга за 1703–1782 гг.» (1885) и особенно исследования по истории петровского времени «Очерк жизни Петра Великого» (1872). Главный герой романа «Царский суд», представленного в данном томе, – юный дворянин Осорьин, попадает в царские опричники и оказывается в гуще кровавых событий покорения Новгорода.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-501-00079-7

© Петров П. Н., 1877

© Алгоритм, 1877

# Содержание

I	7
II	18
III	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# **Петр Николаевич Петров**

## **Царский суд**

© ЗАО «Мир Книги Ритейл», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 201

\* \* \*

# I

## Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Недалеко от Невы-реки, где подходил к ней проселок от Ямы-города, за Мгою, в Водской пятине, в половине XVI века стояло усадище Раково, принадлежавшее зажиточному, по слухам, дворянину Нечаю Коптеву по прозванию Горихвост-Щука. Усадище это, выглядывавшее из-за леска, казалось чуть не городом со стороны дороги. Оно обставлено было целым лабиринтом изб, связей, клетей, клетушек, чуланов, амбаров, напогребиц, мыленок и приспешен. Издали казалось все сооружено на славу, а вблизи представлялась странная смесь ветхого, сгнившего, чуть державшегося строеньишка рядом с небольшим количеством построек из новых чистеньких бревен. Совмещение почти несовместимого обдало бы новое лицо любопытного созерцателя – если б такой нашелся – на первый взгляд тяжелым ощущением, бросая ум в море загадок: как тут разобрать, по этому сброду, каков хозяин – скряга или самохвал ни с чем, загребала чужого или расточитель? Вопросы эти так и оставались бы открытыми, даже для знавших хорошо владельца усадища. Да, вероятно, и сам Коптев не ответил бы самому себе: что он за человек? Вечно, бедняжка, в заботах, по горло в хлопотах, суется разом в двадцать мест: здесь перевозку срочную примет в немецкую сторону, там подряд перехватит у заправского торговца, сам же затянет, не зная, как оборудовать новое дело; в другом месте лес сторгует, да тянет-тянет продавца и потом сведет его с третьим либо с четвертым покупателем, сумея и задаток воротить свой, и стянуть еще что-нибудь с торговца да отступного, на свой пай, с покупателя. Усадище же его на торной дороге к Ореховцу, где со свейскими людьми торг идет отменный и нажива есть для местных помещиков – кулаков заведомых, разыгрывавших роли заправских биржевых маклеров нашего времени. Нечай был между ними из первых вожаков и, по словам его, успевал на обухе рожь смолотить как пить дать. Но, слушая такие его рассказы, приятели переглядывались друг с другом да хихикали в рукавицу. Знали они, что Нечаю все его затейки только наполовину удавались из-за излишней спешки, причем вечно что-нибудь не клеилось и лопалось. Тем не менее ловкость и изворотливость, как мы заметили, помогали торопкому дельцу каждый раз выпутываться из затруднений в момент самого положительного запутыванья их в петлю сердечному. Беда на носу призывала в дело все средства почти гениальных способностей этого хлопотуна, и он ускользал из западни, к явной досаде соперников, делам которых чинил неудобства своим мгновенным подвертываньем и захватом, казалось, уже слаженного торга.

*Жалобниц и исковых* на Нечая подавалось новгородским воеводам видимо-невидимо, хотя большая часть претензий оканчивалась ничем или мировою. В глазах дьяков воеводских Горихвост не казался сутягою, а малоразумным якобы и неосторожным ради своей пользы. Прикидываться же он умел угнетенной невинностью и точить слезы из глаз был мастер; при случае, для вящей силы красноречия, чаще других раскошеливаясь и умасливая «великих благодетелей», дельцов приказных светленькими новгородками. Дни рождений и тезоименитств нужных людей он, при всей кажущейся безалаберности, крепко помнил, являясь первым к заднему крыльцу с памятною в виде связки или узелка какого-нибудь лакомства либо с более ценными приносами, смотря по человечку и по случаю предстоящей в этом человечке нужды в содействии. Такая манера заручаться помощью властей в XVI веке показывала в Нечае верный взгляд и нюх. Власти ведь – все для простых людей, особенно в пятинах. Тогда как личность человека неизвестного в новгородском приказе для орудовавших делами за воеводу в отчине Святой Софии ничего не стоила; попасть в кандалы аль в кутузку при первой жалобе, задолго до разбирательства, было явлением здесь обыденным. Недаром Горихвост прозывался и Щукой, оправдывая буквальным применением к своей личности

реченье пословицы: «Затем в море щука, чтоб карась не дремал». Дремлющими карасями для Нечая были крестьяне да своеземцы мелкопоместные, шедшие на удочку его вкрадчивой медоточивой речи, благодаря которой устраивал он сделку с новым человеком в несколько минут. Успевал расспросить на дороге при встрече: что везет, куда и много ли; да тут же, засыпав целыми потоками самых обольстительных обещаний, сговорит встреченного везти к себе на двор товар и подождать малую толику. Со двора же Нечая Севастьяныча бедняку никак не приходилось выбраться иначе как порожняком, а расплаты ждать, если таковая когда-нибудь наступала... так долго, как можно было только оттягивать, бессовестно смеясь в глаза простаку. Все в околотке хорошо знали широкие ворота усадища и не ездили даже мимо, боясь встретиться с ласковым владельцем на дороге с поклажей. Мужички даже простосердечно признавались: «Ведь Нечай Севастьянович славно обойдет тебя, коли навстречь попадешься... хоша всех святых причитай... жмурься как от нечистой силы, а уж не видать тебе своего возика как ушей своих, а в мошне алтынов».

Но вот пожаловали гости к Щуке-Горихвосту – и гости нельзя сказать, чтобы обычные. Гости эти почтенные, нарядные, которым подают даже угощенье. Говорится, гости *нарядные*, принимая в соображение местные порядки Лужской половины помещиков Водской пятины, где попросту в разъездах у себя по деревням дворяне езжали зимой – не как теперь, а в белой сермяге, в кафтанах эстских, опушенных крашениной, да в бараньих высоких шапках с затыльниками. А теперь подъехавшие с бубенцами на четырех тройках гости были в новых хребтовых лисьих шубах, в лазоревых однорядках *лундского* сукна да в кафтанах, отливавших черленью; кони и сани были праздничные, шлея передней тройки – с серебряной насечкой на новых ремешках. Под дугами, испестренными золотом и яркими красками, болтались, издавая приятный серебристый звон, торжковские колокольчики. На первой тройке ехали двое мужчин: пожилой и молодой – рослый молодец, пригожий и румяный как маков цвет. На нем был охабень, заморским сукном крытый, а из-под охабня выглядывал кафтан, тоже тонкого сукна, с пуговицами серебряными, гладкими. На шелковых кудрях ухарски надвинута была шапочка на душках лисьих. Подпоясан молодец был красным платком сверх опояски, за которою кроме мошны заткнут был угорский нож. Пожилой мужчина, худощавый, рябоватый и с виду суровый, носил темно-зеленый кафтан под шубою, а в правом ухе, наискось просеченном, у него вдета серьга с рубином. Этому признаку достатка и любви к роскоши соответствовало и обилие золотых перстней на руках; перстни у приезжего гостя почти все были с *жуковинами*<sup>1</sup>, которые заменяли печати. Это давало право заключать о владельце их опять как о деловом человеке, ведшем, скорее всего, значительные торги в разных местах. Действуя через сидельцев, разумеется, торговые люди по возможности часто осведомлялись о количестве прихода в денежных ящиках своих лавок – и каждый раз, проверив и пересчитав казну, печатали выручку своей печатью, всегда возя ее в виде жуковины на пальце. Такой несомненный признак торговых людей, как обилие жуковин, действительно разом открывал делового откупщика, каким подлинно и оказывался Захар Амплеевич Осорьин, за постоянно выгодное ведение своих торговых дел прозванный Удачею. Молодой человек, ехавший с ним в одних санях, был сын его Гаврила, по дню рожденья названный *Субботой*; теперь завидный жених. Два лета уже отбыл он на службе великому государю на Низовье. Женщина, с ними вместе сидевшая, была сваха. А на других парадных санях ехали родные дяди Субботы, братья да шурья Захара Удачи. Приехали они к Горихвосту свататься.

Весь дом Коптевых уж с ночи на ногах; всего наготовлено вдоволь, как и следует, к рукобитью дочери, уже засватанной.

<sup>1</sup> *Жуковина* – старинное русское слово от латинского *scarabaeus* – резной камень вообще, а не простая вырезка вглубь священного изображения рака, имевшего в Египте символический смысл, а в древнем мире вообще значение *амулета*.

С Удачею Нечай живут не один десяток годков в любви и согласии. Удаче поверяет Нечай свои подчас и крепко затруднительные обстоятельства, находя посильное содействие и помощь не одними советами, а если требовалось, и казною царской. Удача держал на откупе винные торжки да выставки во всем Спасском присуде, внося в казну великого государя восемьдесят четыре рубля двадцать алтын полтретья деньги новгородским счетом. Отвагой своих операций умный Удача бесконечно превосходил кулака Нечая, хотя ради барышка и сам пускался во все тяжкие, действуя сперва одной уловкой с другом своим в вопросе о привлечении властей. Но кого не ослепляет мзда? Неудивительно, что с развитием оборотов и Удача возмечтал о себе больше, чем ему, мелкой сошке, полагалось. Из прежнего угодника Удача – в тех случаях, когда вины за собою не чуял, – стал огрызком со счетчиками. Да засылать начал грамотки к воеводе с благовременным донесением о количестве вымогаемого дьяками с него, Удачи, собственно на свой пай, а не в мошну воеводскую. Мог ли подобный образ действий двоедушника нравиться, до кого касался он, в приказной либо в счетной избе? Как не понять, что из такого благовременного извета произойти должно со стороны воеводы? Позовет к себе его милость дьяка Истомку либо Казарина – кому перепало не в очередь – да потребует с походцем непринадлежащий кус: знай, значит, сверчок свой шесток!.. Точат, бывало, сердечные, зубы на мошенника Удачу. Клятву дают подстеречь его, душесмутника, сосуд дьявольский, Искарюта... а ничего не поделаешь: увертлив ворог! Не насчитаешь на него ни алтына – сам горазд костями брякать: за год знает, когда и где вносить. Целый десяток дьяков и подьячих сам плутням выучит! Да и зубаст к тому же... совсем не в пример щедрому Нечаю, правда, блудливому, как кошка, да зато не больше зайца и храброму. Прикрикни на него подьячий, он уж и лезет за голенище. Не то чтобы дьяку, его милости перечить! Недаром говорит пословица: ласково телятко две матки сосет. Дела приветливого Нечая Севастьяныча ползут теперь без сучка без задоринки, и его усадьбе суждено вскорости совсем преобразиться. Труха, почитай, последнюю зиму торчит. Лес возить новый станут на тесовый терем да на три повалуши с сениями; на мыленку новую сруб куплен, и тын уж обточен, никак, с осени. Челядь вся принаряжена, а уж о хозяйке да об дочерях и молвить нечего. Глашенька, меньшуха, в невесты Субботе Осорьину тогда еще посулена, как Удача был единственной подпорой шестодела Горихвостова. Может, тысячу раз заговаривал Нечай с Осорьиным об этом самом деле, покуда он наконец дал себя уломать на породненье с коптевским родом. И то сказать, семья Осорьиных богата была людьми видными, столбовыми, не вдруг способными и глянуть приветливо на колоброта Нечая, мужика негорделивого, похожего к тому же на суму переметную, в которой, словно как и в голове у этого Щуки, семь пятниц на неделе. Трудно было Нечаю Севастьянычу уломать упрямого медведя Удачу, тогда ему нужного человека; но после того утекло много воды. А детки, Глашенька да Суббота, растут вместе, величаются женихом да невестой. Жена Удачина, Прасковья Пантелевна, – не к ночи, ко дню будь помянута, – не могла надохнуться на эту пару ребяток: все Глашеньку дочкой называла. Да вот скончалась преждевременно – сердечную по весне кони в полынью завезли; хоша и вытащили спешно живую, да захирела баба с того дня и Богу душеньку отдала в то же лето. Как умирала, так все одно мужу наказывала: окрутить Глашеньку поскорее с Субботой, чтобы меньше убивался сынишка по матери. Удача дал слово жене – и сдержал его. Теперь заявил он Нечаю за неделю, что приедет в понедельник дело доброе совершить – по рукам ударить с ним.

Вот этот понедельник и наступил сегодня. Удача с сыном и родными заехали попить к старому другу, приготовившемуся как следует и стол нарядившему совсем в порядке. Только сам-то друг и сват с чего-то оказывается словно не в себе, так что трудно узнать Нечая в этом озабоченном думце, то и дело почесывающем жирный загривок, поводя из стороны в сторону длинным усом, начинающим седеть. Обычно благообразная фигура сытенького и чистенького Нечая Севастьяныча на этот раз была на себя не похожа, уже потому одному,

что он потерял обычную словоохотливость и стал не в меру сдержанным, к удивлению даже жены – Февроньи Минаевны, знавшей супруга, надо полагать, лучше всех.

И к чему бы, казалось, не в себе быть теперь Нечаю Севастьянычу, как дошло до исполнения одного из самых задушевных его желаний: видеть в лице дочери соединение его семьи с единственным сыном его друга и пособника, Удачи Амплеевича Осорьина?

Да и у хозяйшки Нечая Севастьяныча все как-то не клеилось в этот день. Перепечу сготовила сама – мастерица первая по этой части, как всем было известно, Февронья Минаевна, – посадила в печь, да дура Хаврошка, видно, жару напустила разом, раскололась перепеча, стыдно людям показать: скажут – невеста краденая! Курей верченых обжарила преотменно – с вертела снимать стали, обземь грохнули, в песок... Романею принялись разливать – кран из рук у ключника выпал, вино пролилось. Поторопилась сама хозяйка обрядиться, только хватать за сорочку – колокольцы залились на дворе... приехали гости – значит, выходить нужно навстречу хозяйке. Она, сердечная, ну хватать на себя сарафан да душегрею... Бежит, подергивает ее по лестнице, а навстречу мамка – глянула, крикнула не в себе: «Матушка государыня, у тебя душегрея наволочена наизнанку...»

И все-то выходило так несуразно да неладно.

Пооправилась хозяйка. Выступила на крыльцо. Глядь – хозяин куда-то запропастился: нашел, вишь, время часом скатать на Назью, на починок. Другого часу не нашел?... И должна, бедняжка, как вдовица, одна Февронья Минаевна гостей-мужчин в светлицу вести да речь заводить: как спали-ночевали? Бабье ли дело это у мужиков спрашивать? Ладно, что свашка подоспела. Вдова на все руки, еще из молодых, а уж бой-баба!

Помощь Меланьи Тимофеевны оказалась вполне подпорой для хозяйки, не привыкшей объясняться при всем мире – при народе; а тут были люди, в первый раз ею виденные. Удача же с сыном хоть и свои почти – да с некоторого времени Нечай хозяйке своей запрещал со своим старинным другом без себя видеться: должно быть, взбалмошному примерещилась какая ни есть беспорядочность и нелепость. Вот Февронья Минаевна махнула рукой и решилась помалкивать да приглядывать: не выйдет ли чего наружу от сурового Удачи? Вдовец еще в поре, да зверем глядит, и как тут разобрать: заправду хмурится али гнев скрывает, что не удастся так повернуть дело, как хочется ему? Февронья Минаевна сама знала между тем, что ей не бог весть какая старость: тридцать четыре только стукнуло на Владимирскую летнюю, а слыла она между знакомыми за красавицу. Дочка-то Глашенька совсем в мать уродилась: лицо круглое, белое, с ярким румянцем; грудь высокая, стан самый обольстительный, глаза искры мечут из-под длинных ресниц; руки наливные, а коса... коса до полу, что твой шелк шемаханский, гвоздичного цвета.

Как, с такой красотой, растя да видясь каждый день, не заразить было сердца навечно такому горячему парню, как Суббота Осорьин? Немало было слез и у Февроньи Минаевны (любившей Субботу как своего уже), когда его в новики поставили да справили с доезжачим, с Архипом Ястребом, на Коломну по третье лето. Глашенька разнемоглась, сердечная, да и сама Февронья выла голосом. Удачи дома не было, а потому Суббота отъезжал на службу царскую от Коптевых. Зато уж как воротился после Покрова, так целую неделю из Ракова домой и глаз не показывал: все названная мать да нареченная не могли наглядеться на красавчика. За ним один только порок: вывести его можно из себя очень скоро – стоит только поперек говорить начать. Тут тебе Суббота, неукротимый как аргамак степной, не только зубы покажет, но готов в гневе растерзать человека, успевшего довести его до такого состояния. Отец его – другого склада: отомстит, пожалуй, сторицей, но сумеет сдержать пыл, когда нужно, и ласково еще обойтись с ворогом, пока не успел ему петлю затянуть. «И тогда еще успею натешиться», – решал он, готовясь к верному мщению целые годы! Может, и Суббота, когда поживет подольше, дойдет до батькиного сдерживанья, а теперь так и самому

Нечая Севастьянычу готов ус поокоротить, если бы вздумал тот – хоть бы и у себя в терему – насмеяться или не путно чем упрекнуть пылкого нареченного зятя.

Вот хоть и нонеча: и отец и сын Осорьины, стоя с хозяйкой на лестнице перед теремом, готовы бы были, чего доброго, осведомиться: своя, родная, али накладная борода у Нечая Севастьяныча? Ведь по его милости они в такой важный день словно с левой ноги встали и не вовремя пожаловали положить конец сочетанью, давно решенному.

Маланья Тимофевна, зорким взглядом свашьим подметив затруднительность хозяйки в обычной роли при приеме дорогих гостей, разом положила предел затрудненьям, грозившим только усложняться с каждой минутой.

– Милостивые бояре, нас, баб, не корите, что перед теремом стоите. Хозяйка, видите, молодая, без мужа словно чужая... рот открыть не смеет али за скобку взяться робеет, затем что к доброму делу все рано наряжено, да она, вишь, сожителем не приважена вас, мужи честные, привечать и перед порогом встречать. Я так, бояре, баба бывалая и смолоду не бывала такая вялая: не обессудьте же, в избу ступайте да хозяйку не осуждайте. Я за нее все по чину отправлю и то-то вас, родных, позабавлю! Спросить было тебя, дорогой мой боярин Удача, спал ты ладно ли, встал, верно, не плача? У хозяйюшки пальчиков не целовал, затем что, понятно, и во сне ее не видал. Давно, друже, вдовствуешь да постишься. Погоди малость... исправно здесь угостишься! А как домой поедем с тобой парочкой, чего доброго, не быть бы нам бараном да ярочкой...

Раздался общий смех на балагурство находчивой свахи, успевшей незаметно растворить дверь в повалушу и бегом переступить через порог.

– Теперь, честные бояре, я уже совсем в ударе... Хозяйке место не уступлю, а с Нечая Севастьяныча за верную службу с лихвой слуплю... Прошу на богов креститься да по чинам садиться.

И, подхватив под руку Удачу с сыном, скороговорка Меланья так ловко их поставила, что они невольно стали креститься, а, покуда крестились, сваха схватила подносик со стола, покрытый ширинкою как следует, всунула его в руки хозяйке и на ухо ей проговорила:

– Держи да кланяйся, за мной иди... Я наливать буду.

Так и поправилось дело.

Повалуша была в три окна, по времени нарядно убрана: лавки покрыты новым суконным полавочником, стены завешаны коврами да новинами, вперемежку. В большом углу стол ломился под тяжестью наваренного и нажаренного. Посередке стояла покрытая ширинкой перепеча да солонка перед ней. Только садись за стол да угощайся! Гости разместились по лавкам, и поправившаяся хозяйка, подходя к каждому, спрашивала о здоровье и просила откусать романеи, ловко наливаемой свахой... У Февроньи отлегло от сердца.

Вот подъехал и хозяин. Извинился как-то непутно. Никак еще сквозь зубы процедил: «Что рано пожаловали?» Вот какой грех!

За стол сели. Едят да пьют, а речь не клеится что-то. Удача не раз взглядывал на друга сердечного. Подали курники. Удача и говорит хозяину:

– Выводи-ка свою цыплятницу, пора нашему куру и погоготать с невестой... Суббота почитай что все глаза проглядел: куда ухоронили вы Глашеньку?

– Убирается еще...– процедил нехотя Нечай, не взглянув на будущего зятя и как-то боязливо.

Этого Удача не приметил, а Суббота невольно кинул глаза на запертую дверь из светлицы в повалушу и далее, на жилую половину дома Коптевых, где еще накануне, прощаясь с Глашенькой, он уговорил ее выйти на беседу до обеда и сесть с ним рядом.

Слова будущего тестя отозвались на сердце у горячего Субботы каким-то нехорошим предчувствием.

Он старался не поддаваться этому навязчивому, томительному ощущению, но какая-то сила неприятно теснила грудь, все плотнее и сильнее сжимая как бы в тисках молодое сердце жениха. Влюблен он был в свою суженую давно уже. Только не давали они оба себе отчета во взаимных чувствах. Желание быть вместе, так естественное в людях, вместе выросших, и объясняемое привычкой, было на самом деле пламенной любовью, всю силу которой понял теперь Суббота, в первый раз в жизни вынужденный не видеть Глашеньку. Уже не один час сидит он в терему и путается в догадках: для чего так долго тянуть эту канитель обычной чинности?

«Сколько, однако, ни тяни, а все же невесту должны в рукобитье ввести, даже незнакомого жениха потчевать, как ударят по рукам. Надо хоть батьку поторопить, коли здешние мешкают».

И он стал шептать отцу на ухо, должно быть, горячую отповедь за медлительность.

Удача встал и, покрыв полою кафтана правую руку, обратился к хозяину с односложным предложением: «Пора!»

– К чему спешить!.. – отрезал Нечай, озадачив уже вконец следивших за его сегодняшним поведением всех Осорьиных, переглянувшихся довольно недвусмысленно друг с другом.

Медленно и как-то неохотно все поднялись с мест своих, кроме хозяина, как будто ни в чем не бывало кушавшего курник.

Удача раскрыл рот, начиная приходить уже в гнев на выходящие из ряда шуток, как он думал, обидные странности хозяина, не заподозревая его, впрочем, ни в каком особенном умысле, как в терем вбежал испуганный приказчик Осорьиных и на ухо сказал несколько слов мгновенно побледневшему своему старому господину.

– Я должен домой ехать сейчас, – сказал Удача громко Нечаю. – Управлюсь – приеду... – прибавил он как-то неуверенно.

С невозмутимым хладнокровием Нечай ответил:

– Как знаешь!

Гости медленно опустились на скамьи, когда, ни с кем не простясь, вышел Удача из терема.

Хозяин посидел несколько времени помалкивая, да потом, вдруг обратясь к жениху, молвил ему с каким-то особенным выражением в голосе – не то дурно скрываемого злорадства, не то язвительной, далеко и болезненно хватающей насмешки:

– А тебе, Суббота Удачич, что, бишь, я смолол... Захарыч, батька не наказывал себя догонять?

– Ты слышал сам, Нечай Севастьяныч, что отец просил и наших дорогих гостей обождать здесь... затем что и сам воротиться хотел...

– Это, голубчик, не в его теперь воле... Смекаю я, чево для его милость потребовали. Коли хошь, я тебе на ушко поворожу...

Субботу передернуло словно. Неуверенно и с такой робостью, какой ни разу еще за жизнь свою не испытывал, он подсел к Нечаю. Сердце его сильно забилося при первых же зловещих словах хитрого кулака, старавшегося произносить так, что все от слова до слова могли слышать в комнате:

– Батюшку твоего потребовал *недельщик*<sup>2</sup>, чтобы отобрать у вас усадьбу и поместье на великого государя за неявку на срок к походу с князем Мстиславским да... за умедленье взносов... на вторую треть сего семь тысяч шестьдесят шестого лета, оброчного, корчемного и прочих...

---

<sup>2</sup> Совмещение обязанностей судебного и станового пристава, выбранного местными землевладельцами.

– Это самое, батюшка, кто те сбрендил так непорядочно? – вспылил Суббота, взбешенный слухами, как он думал, неосновательными, пущенными врагами.

– Чего бредить... самая истина! – возвысив голос, отозвался Нечай обиженным тоном. – Для нас все едино, хоша и тебя горяченького скрутят, тверди зады на досуге да знай, паря, только поворачивайся на правее... А ни батьке, ни твоей милости этой дорожки, паря, не отбыть... как пить дать.

Два брата жены Удачиной, Молчановы, приехавшие в сватах, молча вышли из терема, вскочили на коней и помчались к усадьбе Осорьина.

– Чтобы этому Нечайке ни дна ни покрывки не было! – произнес старший из братьев, выезжая за широкие ворота раковской усадьбы. – Смекаю я, что он это со своими клеветами приготовил, за добро да за хлеб-соль, нашему Удаче. Говорил ему не раз: не выводи из петли змею такую, как Горихвост проклятый... Вот и сбылись, на беду, мои искренние слова. Затеял еще в род наш вводить эту язву? Жаль Субботу да Глашу... Нечайшко, говорю тебе, всю каверзу эту устроил, вот те бог, он, чтобы отпятиться от Удачи.

– Да я все не понимаю, братец, больно ты хитер-мудрен стал... Кому, скажи на милость, больше надобности: Удаче ли в Нечае или Нечаю – в нашем зяте?

– Оно так-то так... да черт влезет в бессовестного кулака!.. Может, у него расчет-то переменялся... разбогател сам, может... так и пятиться пора. А что его рук дело вся эта заминка сегодняшняя, так рассуди да припомни все по порядку... как и что с нами проделали Нечай с хозяйкой?..

Ездоки, уже своротив с большой дороги, пересекали наискось лужайку, занесенную неглубоко снегом, свеваемым на дно овражка. Лепясь к нему, за изгибом, в ложбине, приютилось Дятлово, где жил своею оседлостью Удача Осорьин как вдовец, не прибавлявший к своему дому покуда никаких пристроек, живя на другом конце поселка дворов в двадцать, не больше. Обыватели были народ смысленый: больше – возчики. Дома не бывали по целым летам, оттого избенки у них и не отличались исправностью.

Переезд был отсюда недалог, и спустя минут двадцать Молчановы доехали до околицы, где совершенно неожиданно для них ворота оказались притворенными. Уже на стук их выскочили из-за ворот двое поставленных на сторожку понятых и спросили, чего им нужно.

– Мы к хозяину едем, к Удаче Амплеичу Осорьину.

– Таперя-ста ему хозяйствовать здесь не придется, затемотка, что его милость губной староста, Емельян Архипыч Змеев, с недельщиком Данилой Микуличем отставили Удачу Осорьина ото всякого добра да корысти, со отписки, слышь, с новгородского приказы... Собрали, вишь, мир и читают теперя отказ от послушанья Удаче мирских хозяев... Вы недельщиковы, што ль?

– Недельщиковы... коли на то пошло; пустите же, братцы...

Околицу отворили – и они въехали в поселок, где перед помещиковым домом толпилось в полном сборе мужское население.

Недельщик речисто, в третий раз, читал воеводский приказ во исполнение наказа из Москвы, с Новгородской чети.

Удача Осорьин стоял на крыльчке, совершенно убитый горем, и боязливым взглядом обводил толпу, сперва безучастную, а теперь уже начинавшую волноваться, не обращая большого внимания на губного старосту и недельщика. Для хозяев поселка строгий Удача был помещиком не из снисходительных – и разрешение от повинования ему в первую же минуту дало простор вспышкам недовольствия, накопившегося на сердце.

– Экой вор! А еще как важничал... А великому государю оброку вносить так нетути!.. – крикнул ни с того ни с сего один парень с покрасневшими веками, одутловатым, медно-желтым лицом и редкою рыжею бородкою.

– Молчи, Оська, тебя не прощают горланить! – останавливал его седенький старичок, дед по матери молодого озорника. – Може, новый помещик и тяжель еще гнуть станет... К этому притерпелися... Отходчив и толковит, правду бают, Удача Амплеич... Дай бог ему здоровья!..

– Вам, мироедам, вороги наши не вороги, видно! – отозвались два-три неодобрительных голоса на слова старичка, только махнувшего на них рукою безгневно.

– Эка мразь, прости господи согрешение, заворошились... Всяких мы порядков навидались и знаем, что бражникам, как вы, озорники, нигде спуска не дают... – покрыл старичок внушительно, указав на губного и на недельщика, окончившего чтение.

Хозяева сняли шапки и поклонились этим представителям власти, вступающим непосредственно в управление поселком.

– Клади теперя, Данилушка, печати, да засветло и доберемся на ночлег к Нечаю Севастьяновичу, – скомандовал губной бравому *недельщику*.

Эта личность будет играть видную роль в нашем рассказе, потому мы и остановим на ней внимание читателей.

Данила прослужил десять лет в нарядах дворянских и два раза бывал окладчиком при верстании государевым жалованьем по Деревской и Водской пятинам. Сам он владел тридцатью *четьми* (четвертями) в поле и был покуда холост, содержа мать-старушку и заботясь о выдаче замуж четырех сестер-подростков. За прямоту и умение устраивать дела к общему удовольствию и ни для кого не обидно дворяне и земцы Лужской половины выбрали его с весеннего Юрьева дня на трехлетний срок в недельщики с круговой порукой за него всеми своими животами. Сделали же они это далеко не обычное дело затем, что иначе не утвердили бы Данилу. В Новагороде уже наметили было для управы недель своего человечка, племянничка губного старосты Змеева, – да невыборной малограмотным оказался и не представлял достаточного ручательства, что будет лучше дяди – меньше служившего миру, чем приказным, за то его и поддерживавшим. Определение Бортенева в недельщики именно к Змееву было в Новагороде тоже сделано не без расчета. Змеев мог по злобе скорее и надежнее изловить упущение земского выборного. Но они не знали, каков этот человек, Данила Микулыч.

Полагали в нем необычность в обращении с письменным делом да с Судебником, а он озадачил с первого же раза своего ловителя Змеева, заставив его самого поправлять невольный недосмотр такой мелкой формальности, которая и в голову не могла прийти даже хорошему дельцу. Данила оказался начетчиком, лучше Псалтыря знавшим буквальный смысл всех статей Судебника, да к тому же, при здоровом уме, разрешавшим верно, по существу неясности в тексте любого приказного, зубы съевшего на наказах и отписках. Вышло, стало быть, с выбором Данилы, что не ему опасен был губной, а он был бельмом на глазу у губного старосты, начинавшего питать к недельщику одно невольное уважение, как к человеку опытному и даже опасному в случае разлада. Поэтому Змеев принял за правило лучше уступать Даниле, чем перечить: упрям он, и уж если что задумает сделать, то и сделает. А сделать всякому готов он был всевозможное, допускаясь уставом. Для прибегавших к его заступе – а на нее всякий мог рассчитывать, кто имел нужду в содействии недельщика, – Данила Микулыч был самый приветливый и покладный человек, никогда не запугивавший напускною важностью. Выражение лица его, обыкновенно бледного, положим, было серьезно, только он умел умерять ее выражением искреннего расположения, сообщавшего правильным чертам недельщика особенную приятность, составляя полную противоположность с гневным лицом губного старосты, кропотливого, придиричливого, сребролюбивого и плутоватого. Даже в одежде эти два соперника, стоявшие на одной дороге, представляли разницу не меньшую, чем в наружности и привычках. Прижимистый Змеев одевался бедно и даже грязно, как скупец. Не особенно богатый и совсем не падкий на посулы Данила по костюму представлялся чуть не воеводой.

Подошел Удача и стал просить оставить без печатанья избу его до возвращения из Новагорода. Туда собрался отвезти деньги устраненный сборщик. Губной замотал головой и топнул ногой на остановившегося, прислушивавшегося недельщика.

Ясно было, что губной староста понимал, как со взносом денег должна измениться сущность дела, приготовленного ворогами назло Удаче, из желанья сделать ему неприятности, которым подвергал он приказный люд в случае вымогательств, ничего не давая больше условленного и положенного. Не будь этой подготовки, близкой и самому ему к сердцу, губной староста не встретил бы препятствия к выполнению просьбы Осорьина, но теперь на все его разумные предложения он отвечал односложно и сухо:

– Наше дело выполнять, что писано!

Данила Микулыч Бортенев, недельщик, хотя и не старший в порядке служебной постепенности, казалось, нисколько не разделял упорства губного старосты. Он счел нужным возразить на придирки, удручавшие участь человека, подвергшегося каре взыскания. Сам же тихо, но решительно сказал Осорьину:

– Два дня даю тебе, Удача Амплеич... не воротись в третий – не прогневишься... Поезжай, Емельян Архипыч, к Нечаю... Я здесь покуль пересчитаю... дня два на поверку хватит и... с лишечком.

– Да ты попрежь печатай знай... Поверка после... Удачу выпускать с добром не след... пропадет... с кого взыск? С кого?! – мгновенно вспыхнув и уже не владея собой, крикнул губной на недельщика. – Я отвечаю... не ты!

– Ответчик я в своем деле... не серчай напрасно, – отвечал спокойно сдержанный Данила. – С поселка не съеду до приложенья печатей... не заботься... в петлю не полезу, в угодность кому бы ни было... И государевой казне ущерба не будет, окромя прибýtка...

Злой старик губной побагровел от бешенства, но понял, что возражать на это нечего: хозяин – недельщик, а он сам только, теща свою ненависть, поехал в поселок... Стало быть, пришлось покориться.

Злоба, однако, требовала для себя пищи, и он крикнул:

– Осорьина подайте!

– Он уже выехал, – сказал один из понятых. – Вишь, как гонит, за околицей... не поймашь уж, пожалуй.

– Ну, Данилушка, и ворога упустил! Опять твоя же милость... Сочтемся при случае.

– Для чего уж, – спокойно ответил недельщик. – Семь уж бед – видно, один ответ!

Змеев что-то буркнул и крикнул еще раз, торкнув пальцем перед собой в ту сторону, где стояли, понутив голову, недавние сваты:

– Это что за мужики... прости господи, олухи! Начальству шапок не ломают.

– Нездешние... Шурья это Удачи Амплеевича, Молчановы, – робко отозвался приказчик Осорьина.

– А где Суббота Осорьин, не с вами? – крикнул тут на сватов Змеев.

– Остался у нареченного тестя, у Нечая Севастьяныча.

– У Севастьяныча коли он, не уйдет ворог от нас, – прошептал Змеев, садясь в свою кибитку.

За ним издали последовали Молчановы, видевшие, как впереди повозки пустился вскачь и скрылся мгновенно за заворотом овражка конный слуга Коптева, тот самый, что отворял им утром ворота при подъезде к дому помещика.

Не будем повторять проделанных Нечаем при встрече с губным нежностей и вежливостей; не остановимся и на заботливости, с которой собственноручно вынул злого старика Коптева из повозки, поставив его довольно ловко на нижней ступени лестницы. Эти особеннóсти улещания нужных людей проходимцами вроде Нечая случались во все времена и представляют, пожалуй, даже в наши дни сходство со стариной. Переваливаясь, словно

князь родовитый владетельный, Змеев залез на первое место за стол, очутясь подле Субботы Осорьина.

Губной, сядясь, толкнул крепко озадаченного Субботу, вскинувшего глаза тут только на вновь прибывшего.

– Побить бы те челом не мешало, Суббота Захарыч, его милости Емельяну Архипычу, на добре да на приятстве, штобы тебя чем ни на есть оборонил да на ум наставил, в недостатках ваших... коли такая беда стряслась с родителем, – голосом, заискивающим у Змеева и как бы указывающим ему на молодца – это, мол, тот и есть, кого тебе надо, сказал Нечай.

– Благодарим, мы и сами себя обороним, коли потребуется... сдастся, не хуже его милости, – сухо ответил Суббота, даже не привстав.

– Щенок – весь в отца-бездельника! – презрительно выговорил надменный Змеев, уже весь пылая и не думая сдерживаться.

– Нечай Севастьяныч, зажми рот твоему гостю, что бесчестит не к делу меня и отца!.. – крикнул тут Суббота, уже вспыхнув и невольно схватившись за нож у пояса.

Змеев также вскочил и, дрожа от бешенства, прохрипел:

– Выбрось этого щенка, Нечай... выбрось, сей миг... а не то...

Он не успел договорить, как Суббота сильной рукой уже стрёб его за верхнюю одежду и поднял над столом, готовясь бросить об пол.

Нечай, жена его и дядя Субботы разом подскочили и удержали пылкого молодца от беды, приготавливаемой им себе этой нерасчетливою вспышкой.

Наступила минута молчания – зловещего, рокового, решавшего будущее счастливой пары.

Змеев едва пришел в себя от страха, но и косневшим языком повторял, чуть слышно:

– Вяжите его, душегубца, разбойника... руку поднял на власть предержашую...

Нечай Севастьяныч первый нашелся. Он махнул рукой стоявшему все еще в грозной позе Субботе, и тот безотчетно вышел из-за стола и скрылся за дверями на жилую половину дома Коптевых.

Бессознательно перешагнув он через порог девичьей и очутился перед плачущей Глашей. Глаза у нее совсем заплыли от слез. Очевидно, она не осушала их с самого утра, если еще не с ночи.

Следом за Субботой вошла расстроенная мать невесты и, положив руки на плечи молодому человеку, тоже плача, повторяла:

– Что ты сделал?.. Что это будет?..

– То будет, что Нечай Севастьяныч пусть мне не попадается после этого... Заступник за негодяев, опозорив свой дом допущеньем ложных друзей своих, он не стоит, чтобы я...

– Называл меня своим тестем?.. – без желчи и горести досказал подошедший Нечай. – Я сам только шел просить тебя об этом. Ступай и... не приходи...

Жена и дочь бросились умолять хитреца, чтобы он не выгонял беднягу бесприютного.

– Неужели ты думаешь, что я бы выгнал его, коли б у него аль у отца что еще было напереду! – внушительно на ухо выговорил вполголоса жене забывшийся Коптев. – Ступай-ступай!

– Пойду... только мы с тобой еще свидимся...

– Не трудись. Отворот дадут и не такому, как ты, голь несчастная!

И бессовестный нагло засмеялся вслед недавнему жениху своей дочери.

Глаша не помня себя бросилась за Субботой и догнала его на заднем крыльчке.

– Воротись, милый!.. Не отойду от ног отцовских, покуда он не простит тебя... Что ты там наделал такое?

– Я? Ничего! Спроси отца, достойная его молительница, как он душу продал дьяволу, должно быть... Это ведь дьявол с кладом был, что хотел я грянуть об пол с молитвой...

Ха-ха-ха! Серебром бы рассыпался, поверь... да жаль стало твоему родителю, что в дележ пойдем. Вот и накинулись на меня.

– Суббота... ты ли это? О каком кладе ты баешь?.. Какой дьявол?.. Ты не в себе – огневица тебя схватила...

– Прочь от меня!

– Я-то? Твоя Глаша...

– Не моя... и не будешь моей. Понял наконец... Одному погибать.

– Суббота... погоди... постой!

Но он не слышал последних слов отчаявшейся Глаши и уже вскочил на чьего-то иноходца, отвязав его у кольца на дворе, когда с главного крыльца раздались голоса: «Лови!» – а на задней лестнице раздался стон, обдавший холодным потом Субботу. Затрепетал он, бедный, схватился за голову – и, не видя и не слыша ничего, проскочил в ворота...

С заднего крылечка внесли в повалушку бесчувственную Глашу.

## II

### Как ни кинь, все клин

– Никак, придется, отче, панихиду петь по найденьшу нашему? Все не добудимся... только уже и хрипеть перестал, – стараясь смягчить звонко-грубый голос свой, сообщал цветущий здоровьем мужчина средних лет, в понитной ряске, как видно, нáбольшему.

Этот вестник, судя по ширине плеч и мышцам на руках, должен был силачом быть. И кто знал отца Панкратия в Корнильевой захолустной пустыньке, заброшенной в лесную глушь Деревской пятины, тот мог смело утверждать, что, сообразно силе своей, здоровяк этот работал за десятерых, никогда не бывая без дела. Он был в полном смысле *помощник* строителя, обладавшего, может быть, и большею мощью, но в другом роде. Для выполнения решений воли своей имел он готовый, на все пригодный рычаг – отца Панкратия, доклад которого мы привели теперь.

Доклад этот делался тщедушному, маленькому и, казалось, очень слабому старичку в жарко истопленной уютно келейке, сидевшему в теплом зипунчике и волчьих сапогах да в скуфейке. Надвинутая почти над самыми бровями, она скрывала обнаженный спереди череп старца, только на висках прикрытый уцелевшими еще жиденькими космочками отливавших золотом совсем белых кудрей. Одни глаза еще сохраняли живость, искрясь по временам фосфорическим блеском, который составлял резкую противоположность с неподвижными, словно застывшими в морщинах, бледными губами. Редко открывались эти губы и никогда почти не смягчали несколько сурового выражения своей мгновенной улыбкой. Между тем суровости и следа не было в обращении с младшими у отца Герасима, как звали строителя, выросшего в монастырском уединении Тверской отрочей обители. Не успел он обогатить ум особенным разнообразием сведений, но усвоил самую сущность учения Спасителя, уясненного его возлюбленным учеником в немногих словах: «Любы николи же оскудевает». А под оскудением любви понимал Герасим все, что может как-либо и чем-либо угрожать покою и благосостоянию ближнего. Поэтому первая забота наставника была прекращать миром и забвением всякие обиды, какую бы они ни представляли великость понесенных при этом вреда и ущерба. «Да не зайдет солнце во гневе вашем – вот правило, нам предписанное», – твердо повторял, бывало, Герасим заявлявшим ему, что источники распри не скоро могут изгладиться из памяти. И от двух высказанных нами основ житейской мудрости строителя-миротворца мудрено было склонить его на какую бы ни было уступку слабости человеческой.

«Немощи наша ради и не длите гнева!» – был вечный и неотразимый довод его перекорщикам.

В век же Грозного, когда кровь так легко лилась за безделицу, требования старца Герасима, если бы слушали его, были бы самым теплым и единственным предохранительным средством от бед, угрожавших человечеству. Действительно, и разразились они над большей половиной его (мы разумеем здесь русское общество), как известно, всеми видами жесточайших истязаний. По слухам зная следствия неукротимости гнева, Герасим, уже стоя одной ногой в гробу, больше всего и прежде всего привык настаивать на своем требовании, разрывая всякую связь с людьми, не уступавшими его проповеди о любви и мире. «Хуже язычника и мытаря немирящийся», – решал он и, махая рукой, запрещал говорить себе, как он выражался, «о немилостивом».

Доклад отца Панкратия погрузил в тяжелое раздумье строителя, сидевшего в страшном горе у столика своего в келейке, то и дело перебирая по зерну четки при повторении, не открывая уст, сотни раз: «Господи помилуй!» Да и как не погрузиться в раздумье

заботливому строителю, получившему отказ в ходатайстве у владыки обратиться в церковь, вместо сгоревшей, единственную некелейную постройку – часовню над прахом основателя, – покуда по грошам соберется сумма на сооружение особого храма. Владыка Серапион, видимо, был не в духе и находил, что и всей-то часовни недостаточно для одного алтаря, по крохотности ее размеров. Как же обращаться ее в церковь? Строитель просил благословить придвинуть к часовенке одно из жилых помещений, предлагая употребить в дело даже свою собственную келью. О жилой же избе для обращения ее в церковь не хотел уже и слышать владыка. Богомольцы, вишь, летом зайти могут... Что скажут на такую нищету?... Слывет пустынь за безбедную... Иначе надо изворотиться.

А чем и как?..

Так ни с чем и воротился отец Герасим, рассчитывавший, отправляясь, утешить братию устройством храма. А вышло на первый же раз неисполнение его гаданий. Прибыв же с горем в пустыньку, узнал Герасим новость, тоже способную заставить подумать, да и подумать. Без него брат-привратник, выйдя отворять ворота ранним утром, после страшной вьюги в мороз, услышал поблизости конское ржанье. Смотри по сторонам, заметил: что-то темнеется в овраге; позвал других двух братьев – и втроем досмотрели они в овраге коня, чуть видного из-под снежной полости. Вытаскивая же коня, нашли еще бесчувственного молодого человека, вот уж который день не только не приходившего в память, но и не открывавшего глаз во все время. О нем-то теперь повторял, чуть не десятый раз, одно и то же строителю отец Панкратий, по доброте взявший к себе найденного и неусыпно принявшийся за ним ухаживать, покуда безуспешно. Такое положение дела, без сомнения, повергало заботливого Герасима в бездну тяжелого раздумья. Прервало его новое известие Панкратия, казалось наводившее на возможность раскрытия, кто такой был найденный.

– Да вот что, отче, – говорил Панкратий, – по вечеру прибежал ярыга земский опрашивать воротного брата: не видывал ли на коне молодца пригожего, без шапки, в кафтане одном... Вопрос, вишь, поступил из Спасской губы, от губного... Пропал, грит, бесследно... а губному требуется... должно, што ни есть учинил... Я и подумал... нам-то как быть?

– Что же воротной брат ярыге отвечал?

– Затмение, грит, нашло... молвил: не видывали, а потом вспомнил – да ко мне... так и так.

– Неладно, да уж не поправишь!.. А может... все к лучшему... коли впрямь плох: меньше хлопот, коли преставится... погребем – и молчок... Спасской губной... Змеев... лютой человек!.. И правый у него виноватым ставится... Да минует нас чаша гнева Божия – волоченья к Змееву... при нашем убожестве!.. Храни Господи от лютого человека!.. Все Господь на спасение устроит... може, полезнее даже забыть воротного брата... Ужо сам посмотрю, что с нашим бедняжкой... От вчерашнего-то, что дал я тебе, брате Панкратие, снадобья в склянице, коли давал ты ему... нет ли перемены?..

– Говорю, отче, хрипеть перестал...

– А сам-то, холоден али согревается?..

– Словно теплей становиться начал и не так хил, сердечный...

– Н-ну, так, даст бог... в сон ударит... да сном, может, и отойдет все.

– Да чудно таково, отче... С ознобу николи мне не пришлось видать, чтобы так долго не очунились люди...

– А тут, друже, не озноб... другое, должно полагать... я сам ума не приложу. Снадобье мое, брате Панкратие, душевную болезнь врачует... в забвение приводит... в сон... да силу собирает, сонным успокоением. Трав разных, в сборе варения того, много всяких: и зверобою нечто, и проскурняк, корень преотменный, и белены чуточку, и иных неких. К иступлению приводят они, а легчат: сон наводят да дрему спасительную.

– Я так и подумал, отче. Как влил ему в рот почитай глотков десять питья... пена показалась, и он словно сомлел, голубчик... Да, мало-малю, и в пот ударило... И заснул снова, крепко-прекрепко.

– И должен он спать так долго!..– с оживлением высказал Герасим.

Действительно, ведал он много верных средств ко врачеванию человеческих недугов, сливля в околотке за святого, успешно подавая помощь в страданиях, не поддававшихся заведомым знахарям. И от укуса змеиного пластырь давал отец Герасим, все распаление яда тотчас прекращавший. От порубки оружием отравленным, и от скверных язвин, и от корчи. Словом сказать, не было для его искусства ни одного недуга, которому бы он не помог ослабнуть, коли по грехам послан в казнь человеку на долгие сроки. Будь он корыстлив, пустынька бы игрушкой у него глядела, а то прост уж очень разумный старец, и нищелюбив, и жалостлив – ничего не требовал за врачеванье свое... только бы во славу Божию совершить на пользу кому... Братия на это немало роптала, да ничего не приходилось говорить против набольшего, с Панкратием только и советовавшегося на четыре глаза...

А Панкратий не перечил ни в чем ни строителю, ни братии. Пошли его работать или перенести какую тяжесть, хоть бы Евлогий отрок-послушник, он и того послушает. А в диаконы ведь поставлен и первым по строителе считается работником, конечно.

Коня братия решила взять в пустыню, заключая, что Бог послал на их нужды рабочий скот. Замерзший или бесчувственный человек занял только душу Панкратия, которому долго пришлось просиживать у изголовья медленно возвращавшегося к жизни на белом свете.

Был, никак, четырнадцатый день, когда Суббота – это был он – впервые открыл тусклые глаза и тут же смежил их, не доверяя себе, что он подлинно видит совсем неизвестное место да человека в черном вроде сторожа. Не мог также вдруг очнувшийся обознать за людское жилище и бедную низменную полуземлянку, где царствовал чуть не мрак и где вокруг не находил глаз ни одного предмета, сколько-нибудь знакомого бедняку. Мало-помалу, однако, с возвращением памяти, в Субботе пробудилось сперва смутное, потом ясное сознание неотвратимого и непоправимого, как он думал, несчастья. Разрыв с Нечаем и потеря Глаши, представившись теперь ясно в памяти молодого человека, вырвали у него невольный продолжительный стон и скрежет зубов, напугавшие обычно бестрепетного Панкратия.

– Видно, последний кончик пришел сердечному...– прошептал инок, сотворив молитву и крестя страждущего.

Он же через минуту опять смежил веки. Разлучение с жизнью, однако ж, долго не наступало, и находчивый отец Панкратий поспешил привести кроткого Герасима: посмотреть, что творится с врачуемым.

Вид старичка с добрым располагающим взглядом и словами участия, казалось, успокоил Субботу, с которым строитель не решался, однако ж, заговорить, а только глядел на грустный лик, начинавший загораться зловещим пламенем горячки. Зорко следя за переменной в лице больного и заметив лихорадочное оживление глаз, быстро начинавших бегать, переносясь мгновенно с одного места на другое, Герасим вышел и, воротясь, влил в рот больному какого-то снадобья, должно быть горького, но успокоительного. Судорожное напряжение через минуту исчезло с лица страдальца – и он впал в тихое забытие. Мысли его получили какую-то лень, не дававшую им правильно течь из-за боли. Едва ли в том положении, в которое бросила Субботу прихотливая судьба, лекарство отца Герасима не было единственно способным сохранить потрясенную ударом умственную деятельность.

Отец Герасим проявил в себе дивное искусство. Какое дать соответствующее лекарство больному, отгадал он одним ясновидением сердца, не зная еще всей глубины душевного потрясения страждущего. Суббота хранил, однако, упорное молчание и начинал поправляться. Какой заботливости ухода требовало это улучшение со стороны вечно улыбавшегося

Панкратия – на это мог бы дать ответ только он один, если бы он любил хвалиться своими подвигами. Это уже выходило из круга понимания своих обязанностей приветливым здоровяком, а он начинал хмуриться только благодаря угрюмому лику выздоравливавшего.

Вот наконец Суббота уже может и подняться с жесткого ложа, которое владелец кельи уступил своему случайному гостю, а он только два раза за все время своего здесь пребывания и поговорил с добряком Панкратием. В первый раз он попросил рассказать, как сюда попал, а сам не ответил на вопрос рассказчика о его имени и прозвании, не вызвав, впрочем, и этим недоверием неудовольствия на лице кроткого инока. В другой раз – это было на Страстной – Суббота изъявил Панкратию желание облегчить совесть исповедью – и единственный иерей в пустыньке, строитель Герасим, не замедлил явиться в роли примирителя души с Небом.

На этот раз Суббота не думал ничего таить в повести своей недолгой еще жизни, которой в будущем не предстояло, по его собственному мнению, видеть еще раз приманку счастья. Кроткий отец Герасим молчал, слушая и давая полную волю высказываться поверяющему ему свой сердечный недуг. Только когда замолк кающийся, пустынный, сам смолоду изведавший немало злоключений в жизни, спросил его кротко:

– Что ж ты... прощаешь зло содеявшему тебе?..

– Простить... не под силу...

– Зачем же ты, человек, поведал мне начало своего падения? Без прощения врагам Христос не отпускает нам грехи наши... Зла желая нанесшим тебе хотя и кровную обиду, ты можешь уподобиться началу зла всяческого, диаволу и пособникам его.

– Пусть и с ними часть моя – только бы отомстить удалось... губителю моей чести и участи. Пропадать мне так пропадать!

Герасим с ужасом посмотрел на упорного и, как бы не веря себе, переспросил его:

– И это, человек, твое последнее слово? И этого от тебя, думаешь ты, ждал Искупитель, спасший тебя от верной смерти?..

– Иначе не могу думать... пока жив...

Кроткий старец отшатнулся от излеченного им и голосом, полным грусти, проговорил:

– Так Господь же с тобою, иди куда знаешь из нашей мирной сени... Мы, иноки, никого не научаем на зло и никому не помогаем во вреде ближнему, хотя бы и тяжко согрешившему... Тебя поднял Господь с одра... твори же мимо нас, что внушит тебе на благо ум да разум твой. Памятуй только, что отомститель неправды один у нас – Бог! Мы все – только ничтожные слуги велений Всемогущего... а веления Его дает нам знать слово Его, изреченное чрез пророка: «Милости хочу, а не жертвы». Нет в тебе побуждения миловать – ты не раб Господа своего, а раб страстей твоих, изрывающих тебе пропасть до дна адава... Вот путь немилостивых!

Суббота развел руками, как человек, который не может принять предлагаемое ему, и только слеза, улика тяжелой борьбы в душе его в эту минуту, медленно заискрилась в потухшем взгляде отчаявшегося. Налившись в полную каплю, она упала на эпитрахиль сосредоточенного Герасима. Старец отдернул руку, державшую крест, чтобы не дать его облобызать не раскаявшемуся в злом намерении.

Тихо удалился затем грустный иерей Герасим от решительного Субботы, ни словом, ни взглядом не давая понять ожидавшему в сенцах конца исповеди Панкратию, какую тяжесть нес он теперь на своей совести, не успев пролить ни капли света благодати в омраченную душу. Упрямец настаивал на своем с такой силой, какую исповедник видел в первый раз в жизни, не встречая ничего подобного и у пожилых людей, не только в молодом еще, распускающемся побеге страстной природы.

Весь вечер оставался Герасим погруженным в неотвратимую думу. После звона к вечерни он не вдруг стал на правило. Отходя же ко сну, сделал теперь лишние три поклона сверх положенного, прошептав: «Преврати, Господи, ярость львову в незлобие голубицы!»

Но прежде чем тушить свечу у налоя, сосредоточенный строитель-молельщик раскрыл служебник и загадал: получится ли просимое? Глаза его упали в книге на слова: «Смерть грешников люта!» Содрогаюсь, перекрестился он и, опустясь на колени, долго стоял, воздев очи горе.

Суббота не выходил из кельи Панкратия. Разговелся один – пасхальным яйцом, принесенным ему от общего разговенья братий, и не искал ни встречи, ни новой беседы с Герасимом.

В день Радуницы, совершив поминовение усопших и выходя из часовни, строитель сказал брату Панкратию:

– Передай своему гостю, что ему у нас делать нечего... Теперь совсем поправился – может идти куда знает...

– Я, отче, попречь ему говаривал не одиножды о сожитии с нами... по восприятию иноческа образа... и он не прочь был.

– Ему нельзя... отречься от мира, – выговорил неохотно Герасим и замолчал.

Словно перевернулось что, произведя глухую, но довольно ощутимую, мгновенную боль в сердце Панкратия при вести об изгнании Субботы строителем. Панкратий передал своему молчаливому сожителю по келье решение главы пустыни и услышал односложное: «Завтра!»

Наступило утро. Панкратий увидел Субботу уже сидевшим на постели своей и одетым в его кафтан, до того бережно висевший рядом с убогой рясой владельца кельи.

Испив воды, Суббота поблагодарил за гостеприимство брата Панкратия и просил его, если не в труд, указать выход из пустыньки проселком на большую дорогу.

Панкратий не выдержал. Бросившись лобызать уходившего, он сунул ему в карман хлеба вместе с алтыном – единственной монетой, составлявшей все наличное богатство нелюбостыжательного брата. Замахав рукой, когда Суббота отказывался брать дар чистой дружбы, он едва выговорил:

– Коня тебе выведу твоего!..

– Оставь на братию – конь этот не мой. Не коня, а шапку бы нужно.

Вместо ответа Панкратий снял с полки шапочку свою, надевавшуюся только в праздники, и подал ее человеку, видимо чуждавшемуся его до сих пор, хотя, правду сказать, обязанному бы выказать со своей стороны, если ничем другим, то вниманием, признательностью за уход и гостеприимство. Субботе между тем и в голову не приходила эта обязанность за обуявшим его ум сознанием потери всяких надежд на счастье.

Сознание это приводило в ярость его молодое сердце, изведавшее разом гибель всего, что составляло его жизнь и счастье. Понятно при этом и упорство в отказе отцу духовному на требование его примиренья и забвения. Словом, молодой человек страдал, а мучения его старому монаху и представиться не могли во всей глубине и боли их, хотя бы и имел он возможность подумать поглубже над содержанием исповеди Субботы.

Из нее понял отец Герасим лишь кровность обиды и злорадство Нечая, нарушившего обещание свое, прибавив еще глумление и оскорбление. Но силы любви Субботы к Глаше никак и не представлял Герасим себе, не испытав других бед, кроме гонения и унижений. Да и сам Суббота не думал признаваться на духу в своих ощущениях, считая их вовсе не подлежащими пересказу кому-нибудь. Он был натурой сдержанной и нелегко поддававшейся чуждому влиянию, без чего от подобных ему людей трудно ожидать полного откровения. С Панкратием Суббота опять составлял во всем полную противоположность, а больше всего разность выступала у них в складе понятий. Мало жил Суббота еще на свете, но видел, как живут люди; знал и по себе судил о семейном приволье и свободе. Панкратий же сиротой рос в монастыре, вынес с годами из прожитого одну необходимость полного подчинения,

у него не было побуждений подчинить себе волю другого изучением его слабых сторон. А только искусно действуя на них, мы заставляем человека самого высказываться.

Так Панкратий и Суббота при теперешних обстоятельствах не дошли до сближения. Оно между тем было так близко. Даже в ту минуту, когда Панкратий вывел Субботу на дорогу и махнул рукой в ту сторону, куда идти по ней пешеходу, он не мог говорить, задушаемый подступом слез. Почему текли они у него, он и сам не понимал, быстро отвернулся и пошел назад, дав волю сдерживаемому потоку. Суббота бросился было за ним, но какая-то сила приковала ноги его к земле. Оборотись Панкратий случайно, может быть, не так бы скоро воротился он в свою пустыньку, зато утешен бы был изливанием дружбы в такой полноте, какой никто еще не оказывал в жизни. И Суббота, вероятно, стал бы не тем после переворота и душевного отдыха. Душа молодого человека искала теперь предмета для сочувствия, готовая ни на что не обращать внимания, кроме вызова теплоты чувства, даже самой ничтожной и ненадежной; не хватало одной искры огня, чтобы разлиться пожаром.

Голова его была подавлена наплывом дум – в совокупности тяжелых, но поодиночке не заключавших ни колючести болезненной, ни приманки обольстительной, а какую-то торопливость исканья чего-то неизвестного, неведомого. В этом исканье прежде всего пробивалась жажда новизны ощущений. Неприглядный лесистый путь, по тропке, между рядами похожих одна на другую сосен, не только не притуплял этого ощущения, но, говоря точнее, пожалуй, изошрял его, доводя напряжение это до высшей степени по мере телесной усталости от скорой ходьбы. Быстроты ее Суббота не мог заметить сам, побуждаемый надеждой отыскать жилье и десять раз обманутый в своих ожиданиях. Издали ему казались похожими на избу то песчаный холмик между соснами, на повороте дороги, то кем-то заготовленные весной и просушиваемые на солнце пластины, приставленные к какой-то загороди, то избушка в самом деле, но необитаемая, без окон, дверей и потолка, у края дороги.

Вот уж начал спускаться и беловатый сырой туман, набрасывая дымчатый полог на лесную глушь. Стало приметно темнеть. Хотя время от времени то тут, то там между соснами прорывались трещины света, указывая на близость поля. Вот и лес перемежился перед пологим скатом, из-за которого потянул в сторонке дымок. Еще немного – и открылась усадьба: изба с двором и всякими хозяйственными пристройками. Яркими точками блестели волоковые окна избы, где огонь уже был подан.

Подходя к крылечку, Суббота услышал говор нескольких голосов, но, не подумав ни о чем, взялся за скобку двери и, растворив ее со скрипом, вступил в избу.

Изба была чистая, обширная, и обилие всякой домашней утвари, размещенной по настенным полкам да на голбце печи, указывало достаток хозяев. При редкости жилья в здешней стороне – смежной с литовским рубежом – доходно было пускать на ночлег, и плата за него давалась охотно застигаемыми темной ночью, совсем уже сгустившейся теперь. Изба, в которую случай завел Субботу, совсем приноровлена была для получения возможно большей выгоды от ночлежников. Кроме широких лавок вокруг стен, предлагались для сна и полати, занимавшие больше половины всей внутренности чертога, где, как в ковчеге, всякой твари было по паре, и все сборище могло предаваться любому занятию. На этот раз только исключительное внимание всех обращал на себя глава ватаги *веселых*. Правда, из угла два тоненьких голоска затягивали, стараясь наладить на веселый мотив, «Как во городе было во Казани», но, никем не поддерживаемые, затихали, чтобы опять возобновляться, не рассчитывая на большую удачу.

У печки сидел цыган с волынкой; двое татар в тюбетейках чинили обувь; латышей, никак, двое, в белых малахях, распоясывались, готовясь лезть на полати; оттуда же торчали, смотря вниз, пять либо шесть ребячьих голов. В большом углу перед столом, накрытым скатертью, – только без хлеба-соли покуда – лежали гудок да балалайка. На лавках, около стены и на особой, отдельно приставленной к столу, расположились человек семь *весе-*

лых; а набольший у них, здоровый мужичок средних лет, в пестрядинной рубахе и суконных шароварах, величаемый *Тарасом-Чистоговором*, или иначе *Угаром*, держал в руках странный инструмент и складно, несколько нараспев, высчитывал его достоинства в виде бесконечных прибауток: «Нашего бубна всласть заслушивались князья да бояре да купецкие люди постаре, а младшим мы его не покажем, не токма что не расскажем. А коли ково, примерно, захотим уважить, должон тот самой нашу ватагу поотважить: меду крепкого поставить, чтоб щедродателя позабавить. А бубен наш не какой ни на есть, а заветной, величеством взаимную приметной...»

И действительно, в руках краснобая был чудовищной величины двойной бубен, с тремя днами из пузыря и с двойным рядом прорезов для бубенчиков. Поясняя устройство этого орудия своего изготовления, повествователь время от времени ловко ударял тылом ручной пясти то по одной, то по другой стороне натянутого пузыря – и при этом раздавался звук очень своеобразный, хотя далеко не приятный. Скорее всего, гул от него можно бы было приравнять к тьяканью шавок, покрываемому сирым лаем породистого старого пса, прикованного на дворе на цепь и на холоду несколько осипшего.

«А бубен наш красу составит всякие беседы, про его сласть вели не раз споры ближние соседы. Лука с Данилой друг другу в бороду вцеплялись и сами потом удивлялись, што про што их до воительства довело, на сущее зло. Не одна ли словно друг другу поперечка. Не хотели друг другу уступить ни словечка. Один по сущей истине бубен величал, а другой супротив ему кричал: бубен твой хваленой ни к черту годится, как же ты, дурень, смеешь им хвалиться. А Данила – эдак, брат, не годится. Коли не мастероват изловчиться сей музыке сласть придать, так не тебе ее и в руки брать. Кто же тебя слушать захочет, коли пускаешься морочить, будто игра на бубне не отменная, не звучная и не мерная и твой дух не увеселяет?.. С лавки сидячи в пляс подмывает, коли умник на нем заиграет. А дурень, коли за что ни на есть возьмется, вестимо, пути не добьется».

Удовольствие от острот Чистоговора отразилось на лицах слушателей, и в уме их не могла уже возникнуть, конечно, мысль о малой мелодичности великана бубна – по объему своему действительно имевшего право старшинства между обыкновенными инструментами этого вида. Подхвалявая же Тарасову игру, где дело расходилось со словом, слушатели положительно подтверждали замечательную у них дебелисть ушей сравнительно с любыми нервами людей нашего времени, жалующихся на малейшую резкость звука или возвышение несколькими нотами голоса. Под шумок продолжаемых в том же роде рассказней Тараса Суббота не возбудил ни в ком ни крошки внимания своим появлением. Наоборот, его внимание было поражено, особенно при том положении напряженности и жажды ощущений, прежде всего общностью сборища, а там каждою особью в свою очередь. Он имел полную свободу делать свои наблюдения, потому что глава ватаги, подкреплявший свою оживленную речь частыми глотками браги из кружки, был, что называется, неистощим и неподражаем в уменье протянуть нить рассказа о бубне в самую вечность. Двенадцать же глаз, на него обращенных, и столько же ушей, его слушавших, находились в состоянии полного очарования, ничем не способного нарушиться. Не принимала участия в знакомом ей, вероятно, очень хорошо рассказе о бубне только молодая особа в красном шушуне, в таких же черевичках да в желтой исподнице, сидевшая против рассказчика на приставленной к столу скамье, боком к вошедшему Субботе. Она словно обернула к нему голову, когда еще раздался скрип отворившейся двери, но потом отчего-то не один раз потуплялась, начиная разбирать узорную прошву своего вышитого цацами передника. Черты ее были больше чем привлекательны, но круглое лицо поражало бледностью и чем-то похожим на припухлость, а отнюдь не на простую полноту. Могла, впрочем, примирить и с этим недостатком ее лица улыбка, располагающая к себе всякого, на кого она бывала направлена. Улыбка эта, добрая и сочувственная, в минуту прихода Субботы как-то блуждала на лице, потерявшем большую часть

своего оживления благодаря выпитой браге. Глаза ее, уже туманные, почти погружались в дремоту, видимо одолевшую эту особу, хотя она еще сопротивлялась приступам сонливости.

Молодцеватый вид Субботы или, может быть, неожиданность его прихода и своеобразность, приданная наряду его монашеской шапочкой, плохо вяжущейся с нарядным кафтаном, по всей вероятности, не скрылись от молодой особы. Хотя она и силилась противостоять нашествию дремоты, но мгновенное оживление сообщило игру бархатному взгляду красавицы. Длинные волосы ее картинно разбросались по красному шушуну и широким складкам еще более яркой исподницы.

Приятность взгляда, чуть не в упор устремленного ею, невольно поразила Субботу при первой встрече очей его с нею. Смятение, овладевшее молодым человеком, должно было усилиться и от прихода в незнакомое ему многолюдство. Это ощущение скоро достигло в нем крайней неловкости, когда, остановясь на одном месте, он стал переминыться, а незамечанье его упорно выдерживалось всем сборищем с одинаковой безразличностью. Он хотел заговорить первый, но растерялся до того, что чувствовал недостаток силы разжать рот, словно привешены были к губам его свинцовые гири. Неловкое положение неожиданно рассеялось подскоком собачки, обнюхавшей новопривывшего и, должно быть, ошибившейся на этот раз. Она бережно взяла в зубы шапочку, которую держал в опущенной руке Суббота, и, махая хвостиком, отошла с ней к столу и опустила свою добычу на лавочку подле осовевшей женщины с блуждающей улыбкой.

Суббота, не давая себе отчета, последовал за унесенной шапочкой и хотел только, подойдя к лавке, взять ее, когда красotka дружески подвинулась, указав нашему молодцу свободное место подле себя. Суббота опустился на лавку. Это случилось так быстро, что он не мог не только рассудить, но даже и сообразить, для чего он это делает.

Послышались разные возгласы:

– Гляди, какой гусь залетел!

– Нашей, значит, ватаги прибыло, братцы: Танька знакомого нашла...

– Ха-ха-ха-ха! – покрыли слова эти раскаты веселого смеха всех присутствующих.

Миловидная соседка Субботы, величаемая главой ватаги по простоте Танькой, при словах его вышла из державшего ее столбняка и, подавая свою кружку с брагой Субботе, как бы знала его уже давно, промолвила ему: «Испить, может, хочешь, красавчик?» – а сама закинула ему руку за спину с особенной заботливостью.

Субботе действительно с устатка пить хотелось, и от приглашения, такого искреннего и неожиданного, он не нашел в себе силы отговариваться: взял и выпил кружку и взглянул на подносящую с немой благодарностью. Ей показалось это прямым ответом на взаимность – и звучный поцелуй в щеку молодцу для заседавших в притоне стал явным знаком Танькой новопривывшему.

– И взаправду, девке-то малый сродни! – гаркнули мужчины, повставали с мест своих и приступили к новому товарищу с приветом и здорованьем, как будто жили с ним век.

Послышались поцелуи со словами: «Будь здоров!» Прием в новое общество опять совершился, прежде чем приготовился отвечать Суббота, под впечатлением происходящего не думавший отталкивать здоровающихся. Он находился словно в чаду, а когда туман и наплыв навевных впечатлений несколько рассеялся, решил: быть делу так, коли пришлось! «Люди, кажись, душевные: не приказным кровопийцам чета!.. Да и святости монашеской не встретишь здесь, где спознала тебя эта самая Танька. Открытая душа... Чего же мне-то теперь отталкивать ее?.. Избрала – ее дело; коли ошиблась – пусть пеняет на себя».

И эта философия, добытая со дна выпитых кружек браги, в это мгновение имела для охмелевшего Субботы положительное значение с устатку и с голода.

Наутро сборище оказалось еще более разношерстной ватагой, где среди странствующих скоморохов находили удобное прикрытие всякого рода художества, в том числе и гада-

нья, и другие людские обманы. Запевалой был обладатель уродливого бубна, а за краскою – легко поддававшаяся минуте Танька. Она привязалась со всем доступным ей пылом страсти к юному Субботе, упавшему словно с неба. Никто не спрашивал, кто он. Все удовлетворились одним прозвищем Субботы, скоро захотевшего принять и всю скоморошескую выучку, чтобы ничем не отличаться от других членов ватаги.

Наука далась: песни, разучиваемые при дружеском участии звонкоголосой Таньки, затверживал памятный Суббота так легко, что недели через две он знал и в точности мог петь весь изборник веселого братства. Кривлянья и ломанья да залихватские пляски и в игре коршуна с горлицей, и вприсядку возбуждали при выполнении Субботой общее удовольствие сотоварищей и одобренье дяди Тараса – запевалы. Жизнь пошла было припеваючи... Но восторги сперва горячо разделяемой любви, оставаясь у Тани и через два месяца столько же пылкими и способными доводить до забвения, – в Субботе уже возбуждали к ней холодность. Мало-помалу охлаждение росло – и не заметить его не могла даже сама, на все смотревшая сквозь пальцы, нежная Таня. Она стала вздыхать и задумываться. Обстоятельства, в другое время способные расположить ее к беззаботному ожиданию последствий, теперь, при охлаждении Субботы, заставили глядеть на будущее неприязненно и искать выхода из круга, где надежда на сильное счастье тускнела с каждым новым днем. Она решила наконец сама бросить охладевшего и передала свое решение Тарасу, первому предмету ее сочувствия, которое давно угасло, не породив между старыми любовниками – что редко случается – ни малейшей вражды. Тарас уже рассчитывал на барыши от ловкости Субботы. Но решительное требование бросить его со стороны Таньки перемогло, однако же, на этот раз. «Быть по-твоему! – согласился запевала. – Только случая подождем».

– За этим дело не станет! – отвечала Танька с улыбкой, хотя кошки заскребли у нее на сердце при этих словах сильнее, чем когда теряла она первый предмет своих увлечений.

Пришла в воскресный день ватага в большое селение – и вечером же, остановясь в кабаке, учинила большую попойку. Суббота нахлестался до бесчувствия. А наутро, когда его не хотели или впрямь не могли добудиться, ватага неожиданно скрылась, оставив спящего кабатчику...

Лето было уже на исходе.

В людном селении, случись годовой праздник, как теперь и во вторник, народ гуляет нараспашку. Перед закатом солнца заходили хороводы. В сторонке от дороги, при самом въезде за околицу, подле корчмы, расположились коробейники, разложив на траву самые яркие и блестящие приманки для женского пола: расписные выбойки, платки, перстеньки, сережки, гребешки, медные запонки дутые. Стоит взглянуть ненароком – и глаза разбегаются: не знаешь, что выбирать...

Эта выставка редкостей, на удивление деревенским покупщицам, мешала им как должно вести хороводы и петь песни – и собрала такую толпу, что трудно было со стороны разобрать, что тут делается. Торг у коробейников пошел на славу. Меньше продавалось, как водится, на алтыны, а больше на менок, но наличного товара скоро оказалось недостаточно для удовлетворения сильного спроса, и коробейникам понадобилось обратиться к запасу своему – складу товара на дворе. А покуда неудовлетворенные приобретательницы ждали открытия там распродажи с воза – раздался чуть не над ухом звук рожка и показались поводыри с медведями.

Ватага вступила в селение немаленькая: кроме двух стариков, из которых один прикидывался слепцом и выдавал себя за деда четырех молодцов разных лет и склада, были еще налицо два подростка, не меньше старших плутоватые. Медведей вели они целый пяток (в том числе две медведицы). Такое количество зверей разом у одних хозяев привлекло кучу любопытных мужиков. Скоро, впрочем, присоединились и молодницы, особенно приводимые в восторг представлением медвежьей пары, – как заигрывает парень с девкой. Косматые

скоморохи по желанию зевак повторили уже раз с десяток этот образчик своего посильного искусства, когда из корчмы вышел, шатаясь, молодец – весь изорванный и замаранный кровью... Поглядел-поглядел на медвежью пляску да вдруг и сам понемножку начал поводить плечами и руками, словно норovia вступить самолично в состязание со зверями. Пуще да пуще стало его разбирать, и вдруг пустился он впрысядку под нехитрую музыку поводырей.

Наградой удалцу разгульному были общие рукоплескания всех присутствующих, не исключая, кроме приятелей, и самих поводырей медвежьих, подозрительно цедивших сквозь зубы:

– Ай да молодчик! Ай да ухарь!

А величаемый молодчиком и ухарем от этих ли поощрительных слов или просто под накатом безотчетной и произвольной жажды развернуться да показать свою удивительную ловкость, входя мало-помалу в задор, все ближе и ближе подвертывался к медвежьим парам.

Вот он начал задирать мишуков и медведиц в голову никому не приходившими заигрываниями: то хлестнет по морде свирепого зверя, скалящего зубы, то подхватит да повернет дикую Марью Ивановну, словно признавая в ней обыкновенную плясунью; то, изгибаясь сам, как червь на три перегиба, норовит ножку подставить мерно подскакивающей чете Михайлов Ивановичей – и те, сердечные, кувыркнулись, не ожидая этой проделки.

Зрители чувствовали уже боль в животе от непрерывного, неудержимого смеха, а сами, точа слезы из очей, продолжали смотреть да закатываться, как вдруг мастерство плясуна было грубо остановлено выбежавшим целовальником. Он успел схватить удалца и дернуть к себе так отчаянно, что молодец, потеряв равновесие, пал навзничь почти под самым медведем, наиболее скалившим зубы и рычавшим вследствие заигрываний расплясавшегося ухаря. Ему грозила верная опасность – и единоголосный крик ужаса вырвался из всех за мгновение хохотавших глоток, но плясун, в один миг успевший вскочить на ноги, вспрыгнул верхом на грозного своего неприятеля, с ревом шедшего на поверженного врага понуриив голову.

Трудно описать то впечатление, которое сменило при этом общий ужас принимавших участие в разудалом плясуне-гуляке.

Зверя сдержали поводыри, бросившись все к нему. Витязя сняли с торжеством и повели угощать в кабак в сопровождении ворчащего целовальника.

За угощением дело разъяснилось: ухарь оказался задолжавшим кабатчику за выпитое зелено вино, уже третий день им то и дело требуемое, без уплаты денег. Разъяснение дало делу такой оборот, какого прежде всего не мог ожидать сам отчаянный плясун: поводыри выкупили из кабацкого плена парня, обещавшего хороший барыш, если только предоставят ему возможность плясать с медведем.

Решив дело и напоив еще пенником предмет своей выгодной сделки, поводыри, люди опытные, тотчас подыскали человечка, мигом настрочившего кабалу, с пробелом только имени кабального, так как оказалось, что кабатчик не знал его, а бесцеремонно обращаемый как вещь в собственность вожакон медвежьей ватаги хранил упорное молчание. Это дало сперва повод мнимому слепцу разрешить трудный вопрос об имени самым легчайшим способом: он разрубил гордиев узел написанием первого пришедшего на ум имени и прозванья, окрестив *немьм* дешево уступленного кабатчиком в кабалу. Так почти и решено было, как мнимый немой гаркнул очень речисто кабатчику:

– Давай еще меду крепкого, ирод... было бы уж за что пропадать!

– Какая те пропасть мерещится, милый ты человек?.. – ласково обратился к гуляке разудалому хитрый плут, разыгрывавший слепца и дедушку. – Нам не жаль, паря, угостить твою милость... И сами-ста хватить не прочь за твое здоровье; как величать только, не знаем?..

– Субботой батька с маткой прозвали, Гаврилой поп нарек, а род наш, бают, Осорьины будто... коли я это на белом свете мыкаюсь, а не леший в моей шкуре.

– О, так милость твоя хорошего роду... прощенья просим по приятстве, как, бишь, по родителю-то?

– Много захотел! Еще и родителя тебе выдать ответчиком за мое безобразье... я один в деле – один и в ответе... – проговорил охмелевший Суббота, залившись горькими слезами при мгновенном просветлении сознания.

– Малый, видно, и впрямь бывал из порядочных да закрутился... А жаль... видный молодец... Хоша и на службу царскую выставить.

– А ты думаешь, олух, что мы не служивали?.. Вр-решь!.. Бывали на Коломне, на смотру два лета да и отбывали все как надлежит, с нарядом, в полном сборе... Ты что знаешь? Ась? Мишуков цукать?.. Так куда же со мной?.. Не замай!..

– Да я не прогневать твою милость, а с доброго сердца хотел поздравствовать... по отечеству взвеличать.

– То-то! По отечеству величать? Изволь: батько Захар-Удача мой... Меду! Пьем! – И, осушив тяжелую стопу, скатился совсем обессиленный удалец под лавку и захрапел, вздрагивая по временам в тяжелом сне.

В кабалу, с пересказа мнимого слепца, вошло полное имя закрепощенного ватагой – и отпереться ему от дачи кабалы нельзя, за вставкою трех послухов<sup>3</sup>, якобы упрощенных самим отдавшимся своей охотой.

---

<sup>3</sup> Свидетелей.

### III

## Где правды искать?

В ватаге ладил Суббота с медведями одними. Косматые скоморохи полюбили не на шутку своего плясуна. А иной раз, как расходится наш угар-молодец, он забывал и свою ненавистную долю, носясь в бешеной пляске между подпрыгивающими мишуками. Случись в Ржеве-Пустой быть на представленье вдове молодой, боярыне. Понравились ей ради новости и оживленные медвежьи прыжки, и разные кривлянья, искажавшие человеческие ощущения, по звериному уменью. Но когда выпрыгнул Суббота и начал с судорожной дрожью похлопывать и подергивать Марью Ивановну, нисколько и не гневавшуюся за эти любезности, – боярыня глаз не спускала с ловкого и осанистого Субботы и, сама не зная как, заразилась тоской по красавцу. Всего один раз встретились глаза зрительницы и плясуна. Как же не назвать после этого такого молодца выходцем с того света? Ни хождения по монастырям, ни обильные милостыни, ни отчитыванья опытных в духовном врачестве старцев и стариц – ничто не помогало бедняжке. Говорят, и теперь она еще все тоскует да хиреет, места не находя себе от тоски. Бесстрашный глава ватаги один только руки себе потирает, глядя, как после каждого представления с Субботою, при обходе с бубном рядов распотешенных слушателей, обильные сборы денежек с лихвою уже усотеряют его взнос за удалого плясуна кабатчику. Сам плясун был между тем постоянно мрачен и озлоблен. Никому он ничего не говорит да и не слушает, что ему говорят. Выходит к публике нечасто, на своей полной воле: не захочет – ничем не принудишь и не уговоришь. На уговоры и умащивания упрямец начнет только бросать озлобленные взгляды да затрясется иной раз от бешенства. Приносят ему и склянку с одуряющею влагою, но не всегда схватится за нее этот изверг не изверг, а дикарь. Заведомо с черным делом, должно быть, на душе, если еще не хуже что – могли с некоторою даже вероятностью, пожалуй, думать сторонние люди, кому выпадал случай видеть Субботу озлобленного и мрачного. Когда же хватить удастся всепримиряющей хмельной браги или горячего вина – делается он сам не свой и, отуманив, разумеется, ум, развертывает удаль свою до полного очарования дивовавшегося зрителя. Быстрота бешеных перевертов и дерзость прискоков выходят уже из всяких пределов. Что тогда делает он из медведей – мудрено пересказать: звери повинуются ему рабски, мгновенно очарованные пламенем устремленного на них взгляда, истинно адского. Тут уже в кружащейся голове зрителей сливаются в одно и пляски медвежьи, и сверхчеловечья удаль, с мельканьем еще каких-то будто образин, высовывающих языки словно под гул высвистыванья сквозь зубы плясуна. И пока продолжают эти бесовское крученье, с гиканьем под звуки бубна, и писк дудки вожака – у зрителей только сердце замирает от какого-то дикого непередаваемого ощущения. Жилки все трепещут у самого бесстрашного человека, а оторваться от потехи и разрушить чары нет ни силы, ни воли.

Между тем с плясуном самим после каждого представления стали делаться обмороки, и довольно продолжительные. Он стал реже поддаваться искушению осушить стопу. Отталкивая же от себя ее, он стал долгие упорствовать в отказе выхода на пляску, когда собирались толпы зрителей. А уж между зрителями много наезжать стало хорошего народа, особенно людей торговых, ничего не жалеющих на потеху. Вожак ватажный, выведенный раз из терпения, посулил железный прут упорствующему кабальному.

– Коли не слушаешь упросов, ужо мы те вот чем научим послушанью!.. – да и замахнулся на угрюмого плясуна старик. Не владел он уже собою, как увидел, что народ начал расходиться, прождав напрасно пляски с утра до полдня.

Только и видел свой прут глава ватаги. Поняв сущность угрозы, силач Суббота свил прут этот, чуть не в палец толщиной, в шнурочек меньше четверти да и бросил его в испуганного угрожателя.

– Есть не дадим – смиришься поневоле!..– решил мнимый слепец, запирая на замок каюту упрямца, который при этом только больше побледнел.

Прошло два дня. Замок не отпирался, да и узник не давал знака, чтобы в чем нуждался или чего желал. Проезжал на ту пору дьяк приказный из Великого Новагорода и стал просить главу ватаги потешить его – показать пляски человечьи с медведями.

– Ваша честь, хоша и прискорбно нам, а должны мы донести твоему степенству, что всей бы душой рады показать это самое... да боюсь, с упрямцем ничего не поделать... хуже, чем дерево...

– Какой упрямец?

– Да этот самый проходимец, плясун-от наш, обозлился сам не знает про што и с голоду мрет, а не покоряется.

– Да какой он такой человек есть?

– Попросту сказать, кабальный мой... пошел к нам в кабалу за одиннадцать рублей, в прожиток, да от рук отбился... И вином спаиваем, кажись, вволю, да норовит вельми, и норову самово проклятого: не захочет – ни в жисть не принудишь...

– А коли кабальный – чего же с ним и толковать: в кандалах под плеть! Она, друг сердечный, хоша какую дурь выгонит неотменно. Пробрать бы его только...

– Коли бы милость твоя сам его в чувствие привел?

– Почему не так. Приведите...

Стали стучаться в закуту Субботину, отомкнули замок. Не откликается. Отворили дверь – лежит он ничком, а не спит.

– Его милость дьяк с Новагорода зовет тебя.

– Что ему надо?

– Хочет просить тебя досужество показать.

– Дьяк... из Новагорода? Слаб я от нееды.

– Подкрепись. Вольно же тебе упрямитесь да на все сердчать, на еду даже.

– Я на еду не сердчал, а тебе покориться – ни в жисть.

Явилась закуска и брага и водка. Мнимый слепец, кланяясь, повторял:

– Голубчик, Субботушка, не губи ты моей головушки, не круши себя, кушай, что душеньке угодно. Потешь его милость только. Машенька стосковалась по тебе. От еды, сердешная, отстала. Ей-богу, право!

Суббота принялся за еду, язвительно усмехаясь. Насытился и, отпихнув поставец, встал и спросил: где там дьяк-то?

Набольший поспешил уведомить его милость, что одно упоминанье про его честь возымело надлежащую силу на упрямца, нет сомнения, готового показать свою удаль. Дьяк с самыми приятными ожиданиями встретил рослого молодца, подошедшего довольно развязно и спросившего: зачем звали его?

– Говорят, молодчик, ты горазд с медведями плясать, на удивленью миру крещеному, людям на потеху...

– Тешить черный народ – мужицкое дело; а я сам себе господин!..– вдруг недолго думая ответил надменно вошедший. – Пока хочу – пляшу!

– Кабальному, как ты, советовал бы я господином не величать себя и старшему повиноваться.

– Кабальному, баешь?.. Не мне, значит. Я сын боярский, и я кабалу не принимал.

– И то лжешь, сударик! – поспешил возразить ласково вожак ватажный...

– Ни в жисть не лгал и тебе не советую.

- Как же не лжешь, коли отрекаешься кабалы, а она у меня за пазухой.
- Может, и есть у тебя, добрый человек, кабала чья ни есть, не оспариваю.
- На тебя кабала у меня, а не чья другая.
- На меня никто кабалы тебе дать не может.
- Ты сам, голубчик, никто другой... за выкуп от кабатчика...
- Я кабалы на себя не давал, и ты не просил...
- За долг, милый человек, кабала дана... за долг.
- Кем дана?
- Тобой.
- Покажи... Не во сне ли я?..

– Изволь... вот она сама; поглянь, твоя милость... – развернув лоскут бумаги вершка в три, положил мнимый слепец перед дьяком.

– Эта кабала как следует! – осмотрев подписи послухов и пробежав глазами, молвил дьяк.

- Имя твое как, молодец?
- Гаврила Суббота.
- И тут так.

Суббота пожал плечами, припоминая, что он никогда себя не называл по имени. Что во хмелю проболтался, он того не помнил и в голову ему не приходило.

– Батьку как величают?

– Незачем батьку знать в моей дурости, – с неудовольствием молвил Суббота, кивком головы выразив полный отказ от ответа на подобный вопрос.

– Милость твоя, государь дьяк, изволишь усмотреть, есть в кабале и отчество... хоша и упрямится малой... теперь некаяться зачал.

– Истинно стоит в кабале: Удачин сын Осорьин... – подтвердил дьяк, глядя в листок.

Еще большее удивление изобразилось в чертах Субботы, уничтоженного последними словами.

Дьяк и вожак ватажный переглянулись. Вступая в роль вершителя судьбы ближнего, дьяк, возвысив голос, уже продолжал:

– Видишь, упрямство не помогает... Говори же истину, чей ты такой, подлинно... за каким господином семья ваша записана была?

– Я уж молвил: за великим государем царем нашим Иваном Васильевичем. И отец мой, и я служили в полках по Спасскому присуду Водской пятины; запрошное лето я до Покрова за Окой стоял... Нам не рука от своей челяди в челядинцы к мужику идти. Вишь, измыслил супостат кабалу какою на меня настрочить!.. Заведомо лжива она... неподобная...

Ватажника передернуло при этих словах, но он рассчитывал улестить дьяка и не терял надежды запутать неопытного хитрыми подходами со стороны приказного дьяка, как он рассчитывал, скорее склоняющегося на ту сторону, где посулы даются. Субботины руки ведь пусты были теперь, у слепца всего вдоволь оказалось бы, коли б потребовала беда неминуемая. И, зная это, однако с меньшею, чем прежде, уверенностью мнимый слепец вполголоса возразил:

– Неправо порочит кабалу мой кабалный! То его как есть воровство. Кабала писана по его веленью, на то есть и послухи. Пусть он посмотрит, господин дьяк, у тебя в руках кабалу.

– Пусть... – подтвердил дьяк, оборотив к Субботе лоскут бумаги с письмом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.